

## ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Йозефом Фоглем<sup>1</sup>

## Интеллектуальная история и политическая экономия современного капитализма

Беседовал Иван Болдырев



**ФОГЛЬ Йозеф** — профессор современной немецкой литературы, литературоведения, медиа и культурологии Берлинского университета имени Гумбольдта и постоянный приглашённый профессор департамента немецкой словесности Принстонского университета. Адрес: Германия, 10099, г. Берлин, ул. Унтер ден Линден, д. 6.

**Email:** [joseph.vogl@staff.hu-berlin.de](mailto:joseph.vogl@staff.hu-berlin.de)

Перевод с англ. Бориса Белявского

Публикуется с разрешения Erasmus Journal for Philosophy and Economics

Центральной темой разговора с профессором Йозефом Фоглем является положение современной экономической теории и развитие современной капиталистической системы. В интервью рассматриваются вопросы эстетики, исторического и политического контекстов, темпоральности и рефлексивности экономического знания. Профессор Фогль рассказывает о своих исследованиях, в которых он изучает эстетическую репрезентацию, поэтику экономических моделей и новые тенденции в развитии и самообосновании капитализма. При этом Фогль указывает на недостаточное внимание экономической науки к собственным теоретическим построениям и абстракциям, что препятствует адекватному отображению места экономической теории в науке и политике. В ходе беседы автор проблематизирует объективность выводов, на что претендует экономическая дисциплина, не учитывая своего исторического контекста и умалчивая о политической природе экономического. Согласно Фоглю, нынешняя экономическая теория, так же, как и первые системы политической экономики, является исторически укоренённой дисциплиной, повестка которой определяется структурой властных интересов. А процесс экспансии финансовых рынков представляет собой развитие новой формы управления и институционального устройства, в рамках которой финансовый капитал становится кредитором последней инстанции, выходя из-под контроля центральных банков и национальных правительств.

Отдельно в интервью обсуждалась устойчивость доверия к экономическим моделям, несмотря на невозможность спрогнозировать финансовый кризис 2008 г. Особо Фогль отмечает навязывание экономического дискурса в качестве критерия объективности и оценивания как других дисциплин, так и самой экономической теории. В этом контексте обсуждались ограничения современного капитализма, оперирующего моделями экономической теории. В интервью затрагиваются вопросы отношения профессора Фогля к неолиберализму, а также история его профессионального становления.

**Ключевые слова:** экономическая теория; литература; поэтика; финансовый кризис; темпоральность; капитализм; финансовый рынок; политическая экономия.

<sup>1</sup> *Источник:* (History of) Economic Knowledge Freed from Determinism: An Interview with Joseph Vogl. 2019. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*. 12 (1): 73–92. URL: <https://doi.org/10.23941/ejpe.v12i1.409>

— Предлагаю начать с самого начала. Вы изучали немецкую литературу, историю и философию. Почему Вы остановились именно на этих дисциплинах? Как время и место определили Вашу университетскую траекторию?

— Такие решения кроются в ювенильном полумраке, и стоит остерегаться ошибок памяти. Но я, вероятно, заинтересовался этими предметами из-за некоторой их непрозрачности. В отличие от других дисциплин, в них ты не настолько ослеплён ясным предметом изучения, отчётливо обозначенными дисциплинарными границами или понятными профессиональными перспективами. Учебные материалы выглядели как лабиринт, и бродить по нему было так же естественно, как и заблудиться. В литературе, философии и истории меня, по всей видимости, привлекли несистематичность и безосновность. Правда, иногда эти их черты ввергали меня в страх. Всё это происходило в конце 1970-х гг., и тогда места вроде университетов — по крайней мере, если вы приехали из небольшого нижнебаварского города — ассоциировались не столько с получением образования, сколько с выходом на волю и обретением свободы. И однажды, когда я уже был готов сбежать из этих трудных мест, один из преподавателей университета остановил меня, убедив не уходить.

— Вы начинали свою академическую карьеру в качестве специалиста в области интеллектуальной истории и литературоведения. Почему Вы решили заняться изучением экономического знания?

— В определённой степени это было неизбежно. Когда в начале 1990-х гг. я приехал в Париж, со мной была книга «Слова и вещи» Мишеля Фуко [Фуко 1977], и я шёл по следам антропологического знания в литературе и эстетике XVIII века. На экономические идеи я наталкивался практически на каждой её странице: в естественной истории, медицине, философии, в энциклопедиях, в теориях знаков и в учениях о прекрасном. Повсюду были обращение товаров, коммуникация, потоки обмена; избыток компенсировал недостаток; все регионы природы пронизывало провидение; а Робинзоны были моделью человеческого поведения. Это усиливало впечатление, что экономия знаний отражается в экономическом знании, и человек, экземпляр своего рода, активно подстраивает себя под *homo economicus*. По этой причине вопросы положения и происхождения экономического знания стали для меня неизбежными.

— Понимаю, что существует риск упрощения, но всё-таки в чём Вы видите основную идею своей первой большой книги об экономическом знании — «*Kalkül und Leidenschaft*» («Расчёт и страсть») [Vogl 2002] — сегодня? Как идеи книги связаны с Вашим более масштабным проектом «поэтики знания»?

— Если посмотреть на подобные книги ретроспективно, то можно заметить в них обнадеживающие интеллектуальные отголоски того времени, притом что ножки уже прилипли к академической мухоловке. Нужно было доказать что-то не только остальным, но и себе. И более того, нужно было проявить себя в так называемом научном сообществе (*scientific community*), то есть в литературоведении. Моей задачей было доказать, что предмет и эпистемологические режимы становящегося экономического знания не просто стали доминирующим способом описания природных отношений, моральных учений и форм социальной коммуникации, но создали господствующие процедуры репрезентации, программу которых можно было проследить в нарративах, пьесах и эстетических концептах. Я утверждал тогда, что каждое эпистемологическое разъяснение связано с эстетическим решением; каждый порядок знания формирует разные варианты репрезентации, которые определяют консистентность и взаимосвязанность своих объектов. Из этого получилась «поэтика человека экономического». Я исследовал его действия, устремления и хитросплетения в различных дискурсах и жанрах — например, в театральных постановках. Они продиктованы логикой обмена, денежного обращения и контрактов, в то время как в романе — задачей справиться с контингентной массой событий, то есть задачей, при-

существовавшей и в учениях о вероятности, и в камералистских руководствах по «полицейской науке». В конечном счёте, это была логика дважды вывернутой перчатки: как соотнести эпистемологический субстрат поэтических жанров с «поэтическим» устройством форм знания.

— *Вы когда-либо ощущали свою академическую или интеллектуальную принадлежность к определённым «школе», группе или «поколению»?*

— Нет, это счастье — или несчастье — прошло мимо меня. Между прочим, люди постоянно пытались сконструировать какое-либо «поколение» из моего поколения. К примеру, поколение «1978 года» по аналогии с поколением «1968-го», как будто мы что-то упустим, если не удастся облагородить биологическое происхождение историческим или культурным. Эти попытки полностью провалились. Единственная сохранившаяся интеллектуальная ассоциация — это то, что наша принадлежность к беби-бумерам создаст реальные проблемы для пенсионных фондов. В то же время я искал союзников, которые были бы чем-то вроде пищевых добавок или витаминов, способствующих дальнейшему интеллектуальному развитию. И поскольку они оказывали наименьшее сопротивление, я в первую очередь обратился к мертвецам — Адорно и Беньямину. Они оставили нам монументы — «Эстетическую теорию» [Адорно 2001] и «Труд о пассажирах» [Benjamin 1999], — которые можно было продуктивно понять или не понять так, чтобы из этого возникло нечто вроде их мыслительного самочувствия, ощущения собственной мысли [*denkerisches Selbstgefühl, gefühltes Selbstdenken*]. Такие тексты работают как трамплины, позволяющие прыгнуть выше, чем ты способен сам по себе, и создают впечатление, хотя бы на несколько мгновений, что ты смог обозреть ситуацию в мире.

— *Помимо Фуко (хотя к его работе я надеюсь вернуться), какие авторы или подходы более всего вдохновляли Вас в 1980-е и 1990-е?*

— Помимо авторов, развивавших критическую теорию, и в дальнейшем Фуко, в первую очередь во второй половине 1970-х это был Роберт Музиль, его «Человек без свойств» [Музиль 2015]. Это было первое настоящее чтение: семь дней в комнате, в середине комнаты стул, читательская дисциплина и водоворот первой тысячи страниц. Я не мог поверить, что нечто подобное существует: роман, разбирающий по частям XX век со всеми его надеждами, глупостями и идеологиями. Мой лучший друг, Рогер Виллемсен, назвал его сентиментальным проектом, стимулирующим интеллектуальные чувства и эмоционально обострённые движения мысли. Я помню, как был взволнован, обнаружив, что литература может быть инструментом познания, а ещё более — узнав о связанном с этим призыве применять точность и строгость анализа к вопросам жизненного мира и морали. То чтение определило всю мою жизнь и обозначило невозможность существовать так же, как раньше.

Оно же, вероятно, сделало меня особым — идиосинкратическим — читателем со склонностью к идиосинкратическим текстам, которые прежде всего не дают ответы на вопросы, а ставят вопросы и проблемы относительно имеющих ответов. И это, возможно, проложило дорогу к Жилью Делёзу (и Феликсу Гваттари): «Анти-Эдип» [Делёз, Гваттари 2007] тогда уже обсуждался и за пределами семинарских аудиторий, привлекая людей вроде меня своей репутацией скандального сочинения. Я едва ли что-то понимал, но вопреки или благодаря этому совершил паломничество в Париж в начале 1980-х, как и многие другие. В любом случае, привязанность моя сохранилась, я слушал лекции Делёза о кино и, несмотря на скверный французский, неплохо их понимал. Затем, в начале 1990-х гг., мне выпала честь перевести пару его книг. В сущности, это оказалось большой удачей и правильным развитием событий: столкновение со способом мышления и интеллектуальной педагогикой, открывшими дорогу к другим увлечениям — к кино, Ницше и прежде всего к Кафке.

— *Аналогия между экономикой и литературой часто связывается с идеей художественного вымысла, включающего и теоретические экономические модели, и нарративы, циркулирующие на рынках. Как Вы думаете, полезно ли такое сопоставление сегодня?*

— Разговор о фикциях в экономике создал множество заблуждений, особенно относительно противоположности так называемого реального сектора эксцессам «фиктивного» финансового сектора — как будто накопление капитала и финансовый капитал не выступают двигателем капиталистического хозяйствования. Но, естественно, экономические доктрины никогда не обходились без нарративов, легенд или образных идей, будь то истории про трудолюбивого и благочестивого Робинзона, коротающего своё одиночество на безлюдном острове, про добродетельного и надёжного торговца, злонамеренного ростовщика или образ той самой мифической «невидимой руки», обязанной превращать все деловые злодеяния во благо.

Однако если в экономической теории интереса к прояснению собственных фикций почти не было, то литературу и эстетическое чувство, наоборот, постоянно притягивали чудеса экономических событий. Так, непостижимые богатства раннего торгового капитализма воплотились в первом немецком прозаическом романе «Фортунат» (1509 г.) в магии неисчерпаемого «волшебного кошелька», в котором всегда лежат 10 золотых монет. И именно работа биржи, финансовых рынков с характерным для них авантюризмом оказалась основным вызовом для литературы. Возможно, потому что в периоды нестабильности там принимаются в расчёт не столько факты, сколько ожидания этих фактов. Таким образом, было подмечено определённое родство в спекулятивном духе и в игре с несуществующим, как, например, у Гёте, который — при деятельном соучастии Мефистофеля — заставил своего Фауста пустить однажды в оборот бумажные деньги и поэтизировал эту историю, наделил её легкомысленным, воздушным, неземным движением, опознав в этом близость поэтическому гению.

Похожим образом у Эмиля Золя биржевой спекулянт предстаёт поэтом возвышенных денежных сумм, а в «Космополисе» Дона Делилло передвижной офис спекулянта «опрустен» [Делилло 2012], то есть отделан пробкой и изолирован от остального мира, словно в кабинете Марселя Пруста. Такая эстетическая вселенная. Вообще, при этом постоянно возникает эстетика возвышенного — ввиду невообразимых сумм денег, для которых не существует соответствия в чувственном созерцании и которые позволяют освободиться от тяжеловесности материального мира, от царства тел и потребительных стоимостей. В этом контексте Маркс отождествил процесс капитализации с формированием «фиктивного капитала»; возможно, экономика — хорошее «поле созерцания» (*Anschauungsfeld*), чтобы продемонстрировать действенность и эффективность художественного вымысла в целом (в отличие от фантастических образов); то место, где ожидания, отсутствующие предметы и воображаемые сценарии будущего напрямую производят системные эффекты. Так что да, аналогии между литературой, эстетикой и экономикой есть, однако они связаны прежде всего с вопросом о том, что можно делать с вымыслом и знаками. Как однажды написал Малларме, «(t)out se résume dans l'Esthétique et l'Économie politique» — «всё сводится к эстетике и политической экономии» [Mallarmé 1895: 79].

— *Правильно ли я понял, что именно чтение Музиля и Фуко исходно сподвигло Вас не делать различий между чтением прозы, экономических текстов и в определённом смысле самой экономики?*

— Нет. Конечно, чтение литературных произведений — это совсем другое дело, и было бы безумием путать романы с научными трудами. Но я думаю, что усвоил два момента. С одной стороны, научные (например, экономические) сочинения стоит читать не *в качестве* художественной литературы, а, скорее, *как* литературу. Другими словами, необходимо обращать внимание на все — риторические, медиальные, институциональные — приёмы, используемые в производстве «истин». Это единственный способ уловить историческую уникальность, характеризующую порядки знания. Не существует

«событий» или «референтов», ожидающих во вневременном и неподвижном «извне», чтобы дискурсы, высказывания и экзистенциальные утверждения пробудили их и сделали видимыми. Каждая характеристика, каждая концептуализация объекта знания одновременно осуществляют дискурсивную реализацию этого объекта. Это производство, в котором воспроизводятся культурные коды и ценности, систематика и практики той или иной области знания.

В то же время может оказаться полезным читать литературные произведения не только как таинственные документы, которые нуждаются в комментариях и интерпретации, чтобы, наконец, лучше — или по-настоящему — их понять. С точки зрения обратной перспективы художественные тексты сами суть интерпретации и толкования, а литературная история — это история различных техник интерпретации, воплощённых в самих текстах. Таким образом, возможны две герменевтические перспективы, ведущие в противоположных направлениях: одна как бы «теологическая», в ней тексты из прошлого ждут чего-то вроде искупления силами современного интерпретатора, и другая, скорее, «материалистическая», из которой видно, как разыгрывается представление и сталкиваются силы прежних систем производства смыслов. Из этого, наверное, возникает возможность одновременно читать художественные и, к примеру, экономические тексты, не игнорируя различий между ними.

— *В Германии историю экономической мысли до сих пор называют неловким словом *Dogmengeschichte*. Она в полной мере не институционализована и существует на периферии множества других дисциплин. Но в целом это пересечение интересов различных активных исследовательских сообществ, для которых характерны разные академическая чувствительность, акценты, оптика и т. д. Когда Вы писали «*Kalkül und Leidenschaft*» и «*Das Gespenst des Kapitals*» — «*The Spirit of Capital*» («Призрак капитала») [Vogl 2002; 2014], понимали ли Вы (или предполагали), что обращаетесь и к этим людям — историкам, социологам, философам, которые заняты изучением, скажем, Дэвида Юма, Вильфредо Парето или Герберта Саймона? Как бы Вы описали своё отношение к этой литературе и знакомство с ней?*

— Я не думал о подобных читателях, о многочисленных экспертах из разных дисциплин. Поступая так, я лишился бы смелости. Ибо взгляд эксперта на дилетанта по природе зол и беспощаден. По сути, мои книги в большей степени были экспериментом над собой: с помощью каких средств, источников, способов письма, а также техник чтения я могу убедить самого себя в том, что некоторые из моих подозрений и гипотез относительно экономических взаимосвязей, статуса и формы экономических теорий верны? Лишь в этом отношении у меня была воображаемая, но полностью неспецифическая публика. Ведь убеждение самого себя работает только в том случае, если смотреть на происходящее глазами читателя, пусть не твоими собственными, но до определенной степени сочувственными. Воображаемые глаза доброжелательного читателя позволяют ослабить блокаду всегда присутствующей самокритики. Таким образом, я попытался эгоистично отнестись к экспертам в истории экономической мысли, то есть к представителям незнакомого мне знания: я читаю все их работы и приготавливаю их себе, как амуницию, но избегаю воображать их в качестве читателей моих текстов.

— *И в продолжение разговора: меняется ли у Вас режим чтения при переключении с классических работ по политической экономии на современные экономические тексты? Другими словами, считаете ли Вы, что в результате стольких трансформаций, произошедших со времён Просвещения, дискуссия об экономическом знании требует радикально иного подхода, новой герменевтики?*

— Чтение экономических текстов всегда шло в двух направлениях — в будущее и в прошлое. Поэтому при чтении текстов XVIII века — от камералистов до физиократов и английских либералов — задача состояла в том, чтобы не изучать их как древних и устаревших знакомых. Ведь при пристальном взгляде оказывается, что эти тексты вибрируют, они полны восторга от всяческих новинок: экономи-

ческой науки ещё не было, и все экспериментировали с безумной смесью всевозможных практических, юридических, теологических, антропологических, коммерческих и политических знаний, изобретая рыночные механизмы как Колумбово яйцо в социальной теории. Это было авантюрное знание, и его адепты были людьми страннейшими — писателями, моральными философами, юристами, секретарями, торговцами, прожектерами, аферистами, шарлатанами... Речь шла о трудном рождении знания, о рождении обстоятельств, прежде не существовавших.

Относительно же сегодняшних представителей академической экономики дела обстоят прямо противоположным образом. Здесь, как мне кажется, помог исторический взгляд, позволивший их немного «остранить». Настолько ли самоочевиден разговор об экономике как о чём-то единственно возможном и о её «законах»? Что будет, если читать тезисы и теории современной макроэкономики как исторические документы, артефакты из прошлого? Если использовать историю, чтобы ввести в современность различие? Тем самым это знание будет, так сказать, раздисциплинированно, лишено своих гарантированных академических, институциональных, догматических основ и станет открыто для дискуссии и политических дебатов. В экономической науке наших дней меня интересовал следующий вопрос: как в ней формируется настолько специфическая интерпретация мира, чтобы сам этот мир смог программироваться в соответствии с этой интерпретацией? Как обходиться с наукой, занимающейся изучением обстоятельств, созданных ею самой? Как интерпретировать знание, нацеленное на осуществление своих интерпретаций и представлений о мире? Таков был один из занимавших меня герменевтических вопросов.

— *Предлагаемый Вами тип чтения провокативен. Не потеряем ли мы возможность уловить специфику настоящего момента и отследить качественные изменения, происходящие в рыночной экономике сегодня (вроде финансовализации)? Или Вы считаете, что противопоставлять следует что-то иное, не ушедшее навсегда прошлое и радикально новое настоящее? Как тогда удачнее всего концептуализировать изменения капиталистического экономического порядка?*

— Вероятно, стоит развивать определённую чувствительность к разным временным длительностям, интуитивное понимание того, что мы не просто движемся в равномерном потоке времени, но существуем одновременно в различных временных пластах. Это, в частности, касается современной рыночной капиталистической экономики. Некоторые изобретения и реальности, датируемые эрой раннего Нового времени, все ещё актуальны и сегодня. С этой точки зрения, прошло мало времени. Акционерные общества, различные формы предпринимательства, бизнес-модели, идеи прибыли, биржевая торговля, накопление капитала, использование или эксплуатация рабочей силы... В этом отношении истории капитализма, рассказываемые со времён Маркса, — это новости из прошлого, которое не хочет проходить.

В то же время именно эти непоколебимые силы и их долговечность сами, по выражению Маркса и Энгельса, творят историю, заставляя все «сословное и застойное» исчезнуть, подрывая устои, задавая такт модернизации и инновациям и даже прокладывая что-то вроде всеми ощущаемого попутного ветра в направлении изменений. То, что начиная с XVI века оказалось не под силу великим династиям и национальным государствам, а именно — создать поистине «мировые империи», впоследствии удалось мировой капиталистической экономике, оправдывавшей своё именование миросистемы (согласно Валлерстайну и другим авторам). Таким образом, для этого исторического опыта характерно взаимодействие новизны и вечного однообразия, заставляющее относиться с недоверием к тому шумному, что считается последним писком моды.

Я бы направил историческое понимание, историческое чутьё не на осмысление чего-то самоновейшего и злободневного, а на вопрос о том, каким образом историю капиталистической экономики можно

постичь как изменение технологий власти и управления. Например, «финансиализация»: она характеризуется не просто подъёмом финансовых рынков, возникновением новых финансовых инструментов или трансформацией корпоративных структур. Финансиализация предполагает и то, что воспроизводство финансового капитала обуславливает все остальные воспроизводственные процессы — социальные и экономические. Другими словами, только понимая экономику, рынок и капитал как политические силы, как инструменты государственной власти, мы можем зафиксировать разрывы и изменения капиталистического экономического порядка, в том числе нынешнюю зависимость всех сфер жизни от финансовых рынков.

— *Согласитесь ли Вы, что именно эта упомянутая сейчас политизация экономики — различимая во всех тех способах, какими экономическая наука проникает в политическую повестку, делает экономическое знание в определённом смысле уязвимым и потенциально более подотчётным (здесь я следую замечаниям Марион Фуркад и её коллег [Fourcade, Ollion, Algan 2015])? Или Вы видите другие последствия этого процесса?*

— Два комментария по поводу этой «политизации». На кону, естественно, стоит вопрос господства экономики в социальных науках, доминирования, сопровождающегося желанием быть «чистой» или «объективной» наукой вроде физики. И это позволяет заполучить прямой доступ к правящей власти благодаря притязаниям на «пророчество истины» (*Wahr-Sagen*). У каждого правительства есть экономические «эксперты», входящие в ближний круг, и не случайно, что в Германии они вполне серьёзно получили название *Wirtschaftsweisen* («экономические мудрецы»), которые задают курс экономической политики. Принципиальный момент здесь — отсылка к так называемым законам рынка. Фиксация на спонтанных и квазиестественных рыночных порядках (*Marktordnungen*) затмила идею о том, что в экономическом знании речь всегда идёт о том, чьи интересы, на каких основаниях и вопреки каким препятствиям пользуются приоритетом. «Политизация» поэтому оказывается связана с отменой презумпции невиновности политических решений, которые основаны на кажущихся принудительными рыночных механизмах. Экономическая — финансовая и фискальная — политика не избавлена от процедурной ответственности. Когда же, как обычно, прибегают к мнимым детерминизмам, предполагающим, к примеру, закономерную связь между объёмом государственных расходов и экономическим ростом, уровнем цен и денежной массой, конкуренцией и общественным благосостоянием, более гибким рынком труда, предполагающим снижение зарплаты (*Lohnverzicht*) и уровнем занятости, — это лишь скрадывает власть тех возможностей для принятия решений, которые в таких закономерностях заключены.

Политизация, таким образом, означает дистанцирование от утверждаемых закономерностей рынка и позволяет увидеть экономическую науку как поле битвы, которым она всегда и была и на котором формы экономического познания не отделены от определения политических целей и предпочтений. Следует помнить, что экономическая наука порождает множество противоречивых интерпретаций социальных и исторических фактов. В то же время, как отмечалось ранее, можно поразмышлять о генеалогической или «правительной» (*gouvernemental*) перспективе, предложенной Мишелем Фуко. В рамках такого подхода экономическая наука возникает начиная с XVII века как специфическое знание об устройстве управления, близкое к идее «государственного интереса» (*Staatsräson*), связанное с вопросом о том, как лучше, безопаснее, бесперебойнее и эффективнее управлять территориями, населением и отношениями между людьми и вещами (или контролировать их). В этом смысле в развитие экономической науки всегда был вплетён технико-управленческий — то есть политический — элемент.

— *Какую роль в изменении Ваших научных приоритетов (или в дополнительном их подтверждении) сыграл кризис 2008 г.? Вы уже работали над книгой про капитал или она появилась в ответ на происходящие события?*

— Отправным пунктом, видимо, стало тройное удивление. Во-первых, очень многие представители экономической дисциплины удивились тому, что кризис 2008 г. вообще мог произойти. Практически никто его не ожидал, и даже говорили об интеллектуальной катастрофе для экономической науки. Во-вторых, удивление по поводу удивления экспертов, потому что такие же или похожие финансовые кризисы, по сути, регулярно случались с конца 1980-х. Наконец, в-третьих, удивление тому, что расхожие финансово-экономические суждения почти невредимыми пережили глобальный финансовый и экономический коллапс. Это было заметно уже в 2009 г., когда я начал работу над «Призраком капитала» [Vogl 2014]. На самом деле я задал себе вопрос из Вольтерова «Кандида» [Вольтер 2018]: что будет, если мы переосмыслим финансовое потрясение 2008 г. аналогично Лиссабонскому землетрясению 1755 г.? В то время прежние попытки доказать существование Бога, попытки теодицеи пошатнулись и сохранились лишь в качестве сатирических «панглоссианских» фигур. Нельзя ли помыслить о чём-то похожем и применительно к экономическим и финансовым теориям, которые мастерят себе лишь лучшие из всех возможных экономических миров — рынки с идеально балансирующими механизмами и гармонией? Как бы выглядела финансово-экономическая сатира? В какой момент наука невольно оказывается смешной? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, видимо, пытался найти доктора Панглосса — и разнообразные его облики — в экономической догматике. Или, перефразируя, того, кто проповедует оптимизм и детерминизм, но при этом время от времени уединяется со служанкой в кустах.

— В последней по времени книге («*The Ascendancy of Finance*» — «*Восхождение финансов*» [Vogl 2017]) Вы определили суверенитет (приписываемый «коллективному капиталисту»), понятие из классической политической философии, как возможность трансформировать собственные риски в опасность для других, освобождая себя от обязательств и становясь кредитором последней инстанции. Но существует ли кредитор последней инстанции в мире современных рынков, где каждый агент связан со всеми остальными и от всех зависим? Или, перефразируя, кто такой этот «абсолютный» суверен?

— Вопросы места и статуса политического суверенитета в последние годы снова стали достаточно острыми, они оказываются определяющими в предвыборной борьбе, мобилизуют новые формы национализма и привели разнообразных королей Убю<sup>2</sup> на президентские посты. Вероятно, это связано с тем, что на фоне так называемой глобализации, международных договоров и обязательств многие хотели бы воспринимать государственный суверенитет как простой пережиток, «ограниченный», «разделённый», «распределённый», «фрагментированный», «размытый» или даже «упразднённый». Это не совсем неправда, однако нам надо вспомнить, что монолитным, компактным, абсолютным и тем самым по-настоящему «суверенным» суверенитет был только на бумаге — в политической теологии, в теоретических работах (от Бодена до Карла Шмитта). С одной стороны, суверен воспринимался при этом как своего рода высший или последний кредитор; с другой, уже в раннее Новое время казначейство, монетный двор и финансовая система развиваются как сфера, открывшая своеобразную «торговую зону» между государственной властью и частными лицами, которая существенно характеризовалась нечёткой юрисдикцией, частными интересами и соображениями, торговлей должностями и привилегиями, засильем всевозможных посредников, рентополучателей, агентов и попечителей. Позже предпринимались попытки упорядочить все эти хитросплетения, учредив центральные банки, чьей первоначальной целью было финансирование государства, но позже они получили собственные суверенные права, такие как монополия на чеканку монет и выпуск банкнот, скупка долговых обязательств и контроль за денежным оборотом. Под эгидой «финансиализации» мировой экономики такие прерогативы — вроде контроля за ликвидностью и денежной массой — окончательно перешли от государств и центральных банков к финансовым рынкам.

<sup>2</sup> Герой гротескной пьесы Альфреда Жарри; см.: [Жарри 2002]. — *Примеч. перев.*



Сегодня мы имеем дело с переходом от финансовой системы, управляемой государством, к системе, управляемой рынком. У этого два последствия. Во-первых, центробанки больше не могут обзирать системные риски и не контролируют денежную массу в обращении. Деньги сегодня создаются на рынках; современные финансовые инструменты стёрли различия между деньгами и финансовыми активами, а идею определённого и определимого количества денег теперь следует воспринимать как исторический курьёз. Даже имея огромное количество дешёвых денег, Европейский центральный банк (ЕЦБ) вынужден был в последние годы бороться с дефляцией. Во-вторых, финансовые рынки стали «тюрьмой» для правительств, национальных экономик и общества. Вот что я подразумеваю под ролью коллективного капиталиста, воплощённого в инвестиционном и финансовом капитале: ввиду угроз вывезти капитал, сделать неблагоприятной процентную ставку и сократить инвестиции финансовые рынки сами стали «монетарной» правительственной властью, кредитором последней инстанции.

— *Ваши работы сопротивляются чёткой категоризации, но всё же: как Вы охарактеризуете их место между критической историей экономического знания и практик (что относится и к «Восхождению финансов» [Vogl 2017]) и политической философией форм современного капитализма? Какие черты или аргументы, если таковые имеются, отличают Вашу работу от контрнарратива (counter-narrative), в котором «история» экономических дискурсов становилась бы «теорией» современной экономики, оспаривающей эти дискурсы?*

— Я перевёл бы последний вопрос в изъявительное наклонение и с благодарностью и полным согласием его повторил: да, речь шла о контрнарративе, в котором история экономического знания даёт составные части для теории, а её можно использовать как критический инструмент против самого этого знания и созданных им обстоятельств. За неимением лучшего термина я выбрал поэтому для книги «The Ascendancy of Finance/Souveränitätseffekt» («Господство финансов / Эффект суверенитета») подзаголовков «Историко-спекулятивный опыт». За этим стоит предположение, что, во-первых, постижение предметов истории, таких как формы экономического знания, невозможно с помощью устойчивой, или твёрдой, то есть предзаданной, теории или метода. Во-вторых, что «теория» таких предметов должна быть способна обнаружить их конкретное историческое место, а потому носит лишь локальный характер. И, в-третьих, что это конкретное историческое место в случае экономической науки — переговоры по поводу власти.

В свете этого я интерпретировал бы свой «опыт» как опыт критической (со строчной буквы) теории, если под критикой подразумевать критику власти. Другими словами, изучение таких процедур, которые делают возможными события и влияют на них, которые способны управлять формами поведения и самовыражения. Для такого исследования было, вероятно, два основных ориентира. Первый был установлен «критикой политической экономии» в её Марксовой версии, если из неё убрать диалектическую теорию о естественном законе «отрицания отрицания» в историческом процессе; второй — исследованиями «правительности» у Фуко, если вместе с ними перенять и неудобство отказа от единой, всесторонне применимой «теории власти». Притом как раз в «Восхождении финансов...» возникла дополнительная трудность: чтобы обзреть историю финансов или финансового режима (возникшего, на мой взгляд, в пространстве, где политические практики и экономические процессы не различимы), канонические теории политики или экономики, которые в большинстве своём предполагают дифференциацию этих систем, оказались бесполезными.

— *По поводу этой дифференциации: насколько лёгким или трудным было для Вас совмещение различных исследовательских культур — теории медиа, интеллектуальной истории, экономической теории, следующих, очевидно, очень разным эпистемологиям? Заметили ли Вы — и (или) предвидите ли — какие-либо продуктивные переплетения или разногласия среди этих и других дисциплин, с которыми Вы имеете дело?*

— Помимо того что исследовательские культуры, даже будучи новыми и освежая ландшафт, стремятся очень быстро стабилизировать себя в академии — путём выстраивания границ, определения предметных сфер, воспроизводства сторонников, методологических дискуссий, плотных сетей коммуникации, формирования центров и жестов отличия, — поверх дисциплин и исследовательских культур заметны и некоторые «стилистические» различия, то есть различные стили мышления. Следуя им, можно провести линии пересечения или разреза. Одно из различий было дано неокантианцем Вильгельмом Виндельбандом [Windelband 1904], отделившим «номотетические» науки (ориентированные на исследование общих закономерностей) от «идиографических», обращающихся к сингулярности своих объектов. Другое различие введено Делёзом и Гваттари, противопоставившими «детерминистские» типы науки «номадическим» [Делёз, Гваттари 2010].

Если обходиться с этими различиями достаточно свободно (отделяя их, таким образом, от их философско-исторических контекстов), то они откроют перспективы и дадут инструменты, позволяющие собрать то общее, что есть среди различных территориальных притязаний и областей, отыскать эпистемологический след, в котором пересекаются, к примеру, вопросы теории медиа, истории курсов и истории знания. Общим для всех перспектив окажется вопрос о том, как освободиться от детерминизмов в описании исторических процессов. Весьма удивительно, что в экономике при всей её склонности к физике никогда особенно не интересовались физикой, изучающей, исходя из структур порядка, совершенно неожиданные модели поведения за пределами равновесных состояний. Примером служат «диссипативные структуры», изучавшиеся физико-химиком Ильей Пригожиным [Prigogine 1977]: структуры возникают при стечении случайных обстоятельств, а после выстраиваются в систему или снова исчезают. Коротко говоря, для меня это связано с задачей такого понимания сингулярности (исторических) объектов, которое даёт возможность обнаружить их в своём возникновении, становлении, в своих динамических и контингентных аспектах. Это весьма амбициозно, но таков был и вопрос.

— *То есть Вы считаете, что необходима новая экономическая теория капитализма? И видны ли сейчас очертания этой новой теории?*

— Я предпочёл бы термин «анализ» вместо «теории». Поскольку в отличие от концептов теории, «анализ» и «аналитика» не предполагают даже предварительной завершённости: аналитическая работа никогда не заканчивается, феномены всегда бьют ключом, и ты не можешь покинуть стройплощадку. Это не значит, что теоретическое, то есть понятийное обозрение современного капитализма бессмысленно или нам не нужно изобретать новые понятия для новых обстоятельств, таких, например, как «капитализм финансовых рынков», «платформенный капитализм», «авторитарный капитализм», «лингвистический капитализм» поисковых систем, для новых действующих лиц вроде «инфлюенсеров» и т. д. Но не будем забывать, что архивы и библиотеки изобилуют полезной аналитикой и теориями, и нет причин избегать непроизвольной эклектики.

Возможно, есть два общих критерия для теоретической ориентации в анализе капитализма, а именно — поиска процедур репрезентации, благодаря которым положение изображается, во-первых, несколько менее терпимым, а во-вторых, допускающим изменения. Приведу один пример: читая размышления Хаймана Мински [Minsky 1994] о нестабильности финансовых рынков, мы приходим к выводу не о том, что нужно делать всё возможное для их стабилизации (ведь они структурно нестабильны, и очередной крах случится в любом случае), а о том, что необходимо уменьшить зависимость национальных экономик, государств, обществ, жизней отдельных людей от финансовых рынков. И да, это открывает новые перспективы и дисциплины, которые уже можно опознать. Капитализм финансовых рынков — это не экономическая система, а, скорее, формация глобального управления (*governance*), создающая собственные правила, законы и институты, отделяющаяся от территорий и национальных государств,

преобразующая геополитический порядок в геоэкономический, обустроивающая центры накопления и зоны эксплуатации и вырабатывающая иммунитет против становящихся всё более неуместными народных суверенитетов. Это новые линии конфликта и, следовательно, точки притяжения теории.

— Видите ли Вы какую-либо связь между тем, каким образом экономисты осмысливают время и неопределённость, и тем, каким образом время превращается в то, что Вы называете временным «ресурсом» суверенитета, — в нечто, чем торгуют, что контролируют, перераспределяют и т. д.?

— Время играло ключевую роль с тех пор, как люди начали думать об экономике. Для Аристотеля, например, естественное циклическое время становления и исчезновения было «искажено» временем денежной торговли, или, другими словами, временем, которое, умножая деньги, выплаты простых и сложных процентов, свихнулось, распалось, нарушило свой изгиб, своё подчинение природному циклу. В схоластике запреты на ростовщичество обосновывались не в последнюю очередь тем, что время накопления прибыли по процентам вступало в конкуренцию с временем творения, с сугубой божественной собственностью.

Сегодня то, как обходятся со временем, можно описать следующим образом: если финансовые транзакции подразумевают торговлю неопределённостью и рисками, а, следовательно, торг со временем, то есть с инвестициями, ссудами, прогнозами, то недавно появившиеся финансовые техники, претендуют на весьма двусмысленное управление временем. Это относится прежде всего к так называемой секьюритизации или торговле деривативами — в совершенном смысле финансово-капиталистическим сделкам, при которых риски страхуются с помощью рисков, то есть вынесены, рассеяны и перераспределены по различным временным горизонтам. Ценовые риски «хеджируются» рассеиванием ценовых рисков, спекулятивные сделки — спекулятивными сделками; создаются новые рынки рисков, чтобы риски застраховать; текущие риски рассчитываются исходя из рисков будущих, а те — на основе рисков дальнейшего будущего. Нынешние рынки, таким образом, приводятся в движение последствиями этих будущностей, и время предположено как бесконечный и неисчерпаемый ресурс.

В соответствующих финансово-экономических теориях и моделях вероятности будущего рассчитываются на основе вероятностей прошлого. Кажется, что само время — эта креатура изменения, машина жатвы — укрощено, конец истории запрограммирован. В этом можно вполне распознать стремление капитала к вечной жизни. Суверенен тот, кто подчинил себе время. И всё же невозможно предотвратить конечность временных промежутков, сроки проходят и приходят, оказывается пора платить. Будущее настоящее не обязательно соответствует будущему в настоящем, и то, что мы называем крахом или кризисом, есть вторжение конечности: будущее становится слишком дорогим, а ресурсы времени израсходованы. Здесь, наконец, диспропорции власти и роль капитала-времени конкретизируются. Если вопросы справедливости сегодня зависят от вопросов социального распределения экономических рисков, то здесь наблюдается роковая асимметрия. В то время как одни, те, кто несёт ответственность и принимает решения в этом секторе, то есть менеджмент крупных банковских домов и инвестиционных банков, не должны были нести никакой ответственности за возникшие риски (как это произошло в последний кризис), другие — домовладельцы в США, пенсионеры в Греции и т. д. — оказались ответственными за риски, которые они на себя не брали. И поэтому система оказалась для них опасной. Нассим Талеб в своей последней книге «Рискуя собственной шкурой» [Taleb 2018] описал этот тип асимметрии: именно в финансовой системе — но и в целом в большом бизнесе — поощрения, стимулы (например, бонусы) предназначаются тем, кто решается на риски, чьи последствия испытывают на себе лишь другие люди. Именно здесь уже точно можно говорить, что при торговле рисками, неопределённостью и временем в системе обнаружился тиранический цинизм.

— Сейчас уже существует обширная литература — историческая, критическая и историко-критическая, объем которой всё возрастает, — о понятии «неолиберализм» и его практиках. Каково Ваше отношение к этому понятию (и изменилось ли оно)? Как бы Вы определили неолиберализм? Что Вам кажется полезным или ценным в этой литературе и почему?

— Об этом, вероятно, всё уже сказано. Уже Торстейн Веблен писал о «телеологической метафизике» либеральной экономической теории [Veblen 1900]. Александр Рюстов видел в либерализме продолжение «деистической теологии» [Rüstow 2004], то есть учения, начинавшегося когда-то как пропаганда гражданских свобод и затем выродившегося в рыночный идеализм. Современный либерализм, вероятно, родился из конгломерата моральных учений, политической теории, рыночной идеологии и социальной технологии. И современный так называемый неолиберализм радикализировал начиная с 1970-х гг. эти явления: повсеместное распространение конкуренции в обществе, внедрение микрорынков во всех сферах жизни, хвалебные речи предпринимательской личности, утверждение формального равенства для оправдания материального неравенства. Затем неолиберализм увяз в политической антиномии, сделавшей его интеллектуально непривлекательным, в противопоставлении государства и политики, с одной стороны, и рынка и экономики — с другой. Одни и те же аргументы бесконечно повторяются и по-разному оцениваются. Апеллируют к силам рынка, чтобы ограничить власть государства, апеллируют к сильному государству, чтобы бороться с эксцессами рынка. При этом упускается из виду, что либерализм в его различных формах всегда был заинтересован в совершенствовании и расширении механизмов контроля и управления: то, что сейчас называется *governance* и проявляется, например, в преумножении государственно-частных партнёрств, — один из эффектов этого. По-видимому, либеральное мировоззрение потому стало настолько неизбежным, что оно уже видимым образом себя воплотило — в законодательстве и институтах, в бизнес-моделях и академических дисциплинах. Не очень связный, но эффективный теоретико-практический конструкт, вносящий существенный вклад в поддержку капиталистической экономики. Можно, вероятно, сказать: неолиберализм сегодня дал так много ответов, что у него закончились вопросы. Или, говоря точнее: он повторяет ответы на вопросы, которые сам больше не способен ставить.

— Учитывая всё это и вновь возвращаясь к статусу и критике экономической науки (каковая критика весьма часто встречается в Ваших работах): стандартные защитные стратегии экономистов после кризиса 2008 г. предполагают, что: сегодня экономическая наука «реалистична» настолько, насколько это вообще возможно; экономисты расстались с амбициями объяснить мир как целое и вместо этого сконцентрировались на улучшениях небольшого масштаба и фрагментарном моделировании, используя наиболее продвинутое, часто (квази-)экспериментальные, методы эмпирического анализа; экономическая наука стала очень похожей на медицину, которая не может сделать людей здоровыми, но способна достичь скромных, небольших улучшений их самочувствия. Что Вы думаете по поводу такой защиты? Какое место Вы отвели бы экономической науке сегодня?

— Прежде всего, достаточно характерен тот способ, каким оправдывают расхожие рыночные модели и их прогностическую способность после 2008 г. Несколько примеров: Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, полагал, что в крахе 2008 г. виноваты безответственные акторы и у нас нет «необходимости полностью пересматривать экономическую и финансовую теории» [Bernanke 2010: 5]. Лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас выразился ещё радикальнее: модели и симуляции не предоставляют информации о возможных кризисах, но лишь «прогнозы о том, чего стоит ожидать, если кризиса не будет» [Lucas 2009]. А в другом экспертном заключении просто констатировалось, что до 2008 г. пессимистичные взгляды разделялись меньшинством академических экономистов, поэтому не имели особого доверия. Экономический историк Филип Мировски говорил в связи с этим о «когнитивном диссонансе», то есть проблема в том, что в господствующей экономической догматике неразрешимо фундаментальное противоречие между положением дел и убеждениями.

Даже если сегодня притязания стали немного скромнее, не стоит, наверное, забывать, что экономическое прогнозирование составляет предмет гордости экономической науки и моделирования. Это касается и новейших форм микро- и поведенческой экономики. В них, хотя и отказываются от упрощений вроде «рационального выбора», но всё ещё предполагают, что рыночные процессы так или иначе протекают законосообразно и рынки должны так или иначе быть эффективны. Я даже согласился бы здесь с Фридрихом Хайеком, который когда-то задался вопросом об эпистемологическом статусе моделей конкурентных рынков, немедленно заключив, что «в конкретных ситуациях, когда она [конкуренция] значима, её действие не может быть проверено» [Науек 2002: 10]. Всегда и неизбежно в игру вступают идеализированные абстракции. И это означает, что лишь когда экономическая теория вкуче с построением моделей подвергает рефлексии собственные пределы, то есть значимость неполного знания, неопределённости и непредсказуемости, открытого, непредвиденного будущего, только когда она впускает в свои закрома свежий воздух истории, только тогда она заслуживает звания теории.

## Литература

- Адорно Т. 2001 (1970). *Эстетическая теория*. М.: Республика.
- Вольтер. 2018 (1759). *Кандид, или Оптимизм*. М.: Эксмо-Пресс.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. 2007 (1972). *Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения*. Екатеринбург: У-Фактория.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. 2010. *Тысяча плато. Капитализм и шизофрения*. М.: Астрель.
- Делило Д. 2012 (2003). *Космополис*. М.: Эксмо.
- Жарри А. 2002 (1894). *«Убю король» и другие произведения: пьесы, романы, эссе*. М.: Б. С. Г.-Пресс.
- Костикова О. И. 2014. «Колумбово яйцо» или образная ономастика: язык, культура, перевод. *Русский язык и культура в зеркале перевода*. 1 (1): 325–335.
- Музиль Р. 2015 (1943). *Человек без свойств*. М.: Азбука.
- Райзберг Б. А. 2009. *Современный социоэкономический словарь*. М.: ИНФРА-М.
- Талёб Н. 2018. *Рискуя собственной шкурой: скрытая асимметрия повседневной жизни*. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус.
- Фуко М. 1977 (1966). *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*. М.: Прогресс.
- Benjamin W. 1999 (1982). *The Arcades Project*. Cambridge, MA; London: Belknap Press.
- Bernanke B. S. 2010. Implications of the Financial Crisis for Economics. *Speech at the conference co-sponsored by the Center for Economic Policy Studies and the Bendheim Center for Finance, Princeton, New Jersey, 24 September 2010*. URL: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/bernanke20100924a.pdf>
- Fourcade M., Ollion E., Algan Y. 2015. The Superiority of Economists. *Journal of Economic Perspectives*. 29 (1): 89–114.

- Hayek F. 2002 (1968). Competition as a Discovery Procedure. *The Quarterly Journal of Austrian Economics*. 5 (3): 9–23.
- Lucas R. 2009. In Defence of the Dismal Science. *The Economist*. Aug 6th. URL: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/08/06/in-defence-of-the-dismal-science>
- Mallarmé S. 1895. *La Musique et les lettres*. Paris: Perrin et Cie.
- Minsky H. 1994. The Financial Instability Hypothesis. In: Arestis Ph., Sawyer M. (eds) *The Elgar Companion to Radical Political Economy*. Aldershot: Edward Elgar; 153–158.
- Prigogine I. 1977. Time, Structure and Fluctuations. *Nobel Lecture*. 8 December 1977. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1977/prigogine/lecture/>
- Rüstow A. 2004. *Die Religion der Marktwirtschaft*. Münster: LIT Verlag.
- Veblen T. 1900. The Preconceptions of Economic Science. *The Quarterly Journal of Economics*. 14 (2): 240–269.
- Vogl J. 2002. *Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen*. Zürich; Berlin: Diaphanes.
- Vogl J. 2014 (2010). *The Spirit of Capital/Das Gespenst des Kapitals*. Stanford: Stanford University Press; Zürich; Berlin: Diaphanes.
- Vogl J. 2017. *The Ascendancy of Finance*. Cambridge; Malden, MA: Polity Press.
- Windelband W. (1904) *Geschichte und Naturwissenschaft*. 3. Aufl. Straßburg: Heitz.

## INTERVIEWS

# Interview with Joseph Vogl

## Intellectual History and Political Economy of Modern Capitalism<sup>1</sup>

*Interviewed by Ivan Boldyrev*

Translated from English by Boris Belyavskiy

**VOGL, Joseph** — Professor of Modern German Literature, Literary, Media and Cultural Studies at the Humboldt University of Berlin and permanent Visiting Professor at the Department of German at Princeton University. Address: Germany, Unter den Linden 6, 10099, Berlin.

**Email:** [joseph.vogl@staff.hu-berlin.de](mailto:joseph.vogl@staff.hu-berlin.de)

### Abstract

The contemporary positions of economic theory and the modern development of the capitalist system were the main topics of discussion with Prof. Joseph Vogl. Several questions were discussed regarding aesthetics, historical and political contexts, the temporality of economic knowledge, and its reflexivity. Prof. Vogl spoke about his studies aimed at the investigation of aesthetic representation and the poetics of economic models and abstractions in different genres, such as literature, theatre, and poetry. During the conversation, Prof. Vogl problematized the objectivity of conclusions in economic disciplines, while economics has not been considered in a historical context that forms an agenda. The author problematized the objectivity of conclusions that pretend to be in the economic discipline, although economics has not been considered as a historical context that forms its agenda. Prof. Vogl claimed that modern

economic theory, like early political economy, is historically rooted in its agenda determined by the structure of power interests. Furthermore, the expansion process of financial markets represents the development of new forms of governmentality and institutional order. Through these forms, financial capital becomes the lender of last resort, which is not subordinate to central banks and federal governments.

A special discussion in the interview was related to trust in economic models that persisted after the financial crash of 2008, despite the inability to forecast it. The author claimed the imposition of economic discourse was a criterion for estimating the objectivity of other scientific disciplines and the economic theory itself. The capitalist economy's limitations were discussed in this context as a result of operating under the models of economic theory. Capitalist attempts to construct special temporality and redistribute risks to an uncertain future was described as not considering the empirical reality of finite periods for debt repayment. Reality destroys modeled forecasts and leads to new financial crises. Questions related to Prof. Vogl's vision of neoliberalism and modern economics were also discussed, and the history of the author's professional development was illuminated.

**Keywords:** economic theory; literature; poetics; financial crisis; temporality; capitalism; financial market; political economy.

### References

Adorno T. W. (1997 [1970]) *Aesthetic Theory*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Benjamin W. (1999 [1982]) *The Arcades Project*, Cambridge, MA; London: Belknap Press.

Bernanke B. S. (2010) Implications of the Financial Crisis for Economics. *Speech at the conference co-sponsored by the Center for Economic Policy Studies and the Bendheim Center for Finance, Princeton, New*

Jersey, 24 September 2010. Available at: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/bernanke20100924a.pdf> (accessed 25 September 2019).

Deleuze G., Guattari F. (1977 [1972]) *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*, New York: Viking Press.

Deleuze G., Guattari F. (1987 [1980]) *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, Minneapolis, MN; London: University of Minnesota Press.

DeLillo D. (2003) *Cosmopolis*, New York: Scribner.

Foucault M. (1970 [1966]) *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, New York: Pantheon Books.

Fourcade M., Ollion E., Algan Y. (2015) The Superiority of Economists. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 29, no 1, pp. 89–114.

Hayek F. (2002 [1968]) Competition as a Discovery Procedure. *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, vol. 5, no 3, pp. 9–23.

Jarry A. (2019 [1966]) *Ubu Roi*, Paris: Tériade.

Kostikova O. I. (2014) “Columbovo yaytso” ili obraznaya onomastika: yazik, cultura, perevod [“Columbus’s Egg” or Figurative Onomatology: Language, Culture, Translation]. *Russkij yazik i cultura v zerkale perevoda = Russian Language and Culture Reflected in Translation*, vol. 1, no 1, pp. 325–335 (in Russian).

Lucas R. (2009) In Defence of the Dismal Science. *The Economist*. Aug 6th. Available at: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/08/06/in-defence-of-the-dismal-science> (accessed 25 September 2019).

Mallarmé S. (1895) *La Musique et les lettres*, Paris: Perrin et Cie.

Minsky H. (1994) The Financial Instability Hypothesis. *The Elgar Companion to Radical Political Economy* (eds. Ph. Arestis, M. Sawyer), Aldershot: Edward Elgar, pp. 153–158.

Musil R. (1995 [1943]) *The Man Without Qualities*, New York: Knopf.

Prigogine I. (1977) Time, Structure and Fluctuations. *Nobel Lecture*, 8 December 1977. Available at: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1977/prigogine/lecture/> (accessed 25 September 2019).

Reisberg B. A. (2009) *Sovremennyy sotsioeconomicheskij slovar’* [Modern Socio-Economical Dictionary], Moscow: INFRA-M (in Russian).

Rüstow A. (2004) *Die Religion der Marktwirtschaft*, Münster: LIT Verlag.

Taleb N. N. (2018) *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*, New York: Random House.

Veblen T. (1900) The Preconceptions of Economic Science. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 14, no 2, pp. 240–269.



- Vogl J. (2002) *Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen*, Zürich; Berlin: Diaphanes.
- Vogl J. (2014 [2010]) *The Spirit of Capital /Das Gespenst des Kapitals*, Stanford: Stanford University Press; Zürich; Berlin: Diaphanes.
- Vogl J. (2017) *The Ascendancy of Finance*, Cambridge; Malden, MA: Polity Press.
- Voltaire (2006 [1759]) *Candide, or Optimism*, London: Penguin Classics.
- Windelband W. (1904) *Geschichte und Naturwissenschaft*. 3. Aufl., Straßburg: Heitz.

**Received:** June 11, 2019

**Citation:** Interv'yu s Josephom Voglem. (2019) Intellektual'naya istoriya i politicheskaya ekonomiya sovremennogo kapitalizma [An Interview with Joseph Vogl. Intellectual History and Political Economy of Modern Capitalism]. *Journal of Economic Sociology = Ekonomicheskaya sotsiologiya*, vol. 20, no 5, pp. 11–27. doi: 10.17323/1726-3247-2019-5-11-27 (in Russian).